# Соседи-христиане

# Джон Апдайк

Орсон Зиглер приехал в Гарвард из маленького городка в Южной Дакоте, где его отец был единственным доктором. В свои восемнадцать Орсону полдюйма не хватало до шести футов, в нем было 164 фунта весу, а коэффициент умственного развития равнялся 152. Его тронутые экземой щеки и смутно раздраженный взгляд исподлобья — словно его лицо слишком долго пересекалось видом плоского горизонта — скрывали определенную степень самоуверенности. Как сын доктора он всегда был заметной фигурой в городе. В школе он был президентом класса, произносил прощальную речь от имени выпускников и был капитаном футбольной и бейсбольной команд. (Капитаном баскетбольной команды был Лестер Пятнистый Лось — чистокровный индеец из племени чиппева, с грязными ногтями и сверкающими зубами; он пил, курил, хулиганил и был единственный, кому Орсон уступал во всем, что имело в жизни хоть какое-то значение.) Орсон был первым уроженцем этого города, поступившим в Гарвардский университет, и скорее всего последним, по крайней мере пока не подрастет его сын. Он четко представлял себе свое будущее: подготовительный медицинский курс в Гарварде, затем медицинский факультет там же либо в Пенсильванском или Йельском университете, а потом обратно в Южную Дакоту, где он уже избрал себе жену, заявил на нее права и оставил дожидаться своего возвращения. За два вечера до отъезда в Гарвард он лишил ее девственности. Она плакала, а он чувствовал себя глупо, потерпев в известном смысле неудачу. Своей девственности он тоже лишился. Орсон был достаточно трезв и осознавал, что ему предстоит многому научиться и что он должен, в разумных пределах, быть к этому готовым. Гарвард перерабатывает таких мальчиков тысячами и возвращает их обществу почти без явных повреждений. Вероятно, потому, что он был родом из мест к западу от Миссисипи и протестант (методист), администрация поселила его с самообращенным епископалианцем из Орегона.

Когда Орсон прибыл в Гарвард утром в день регистрации, еще не придя в себя после нескольких перелетов, начавшихся четырнадцать часов назад, его сосед уже вселился. На верхней строке дверной таблички комнаты номер 14 было вычурно выведено «Г. Паламонтен». На кровати у окна кто-то успел поспать, а на столе у окна высилась аккуратная стопка книг. Стоя в дверях, невыспавшийся Орсон, по инерции вцепившийся в свои два тяжеленных чемодана, ощущал чье-то присутствие в комнате, но был не в силах его засечь; зрительное и умственное ориентирование у него немного запаздывало.

На полу перед маленькой прялкой, босой, сидел сосед по комнате. Он резво вскочил. Первым впечатлением Орсона была упругая быстрота — его лицо, как по волшебству, оказалось нос к носу с толстогубым, пучеглазым лицом второго мальчика. Он был на голову ниже Орсона, и на нем были небесно-голубые, сужающиеся книзу шаровары, рубаха с расстегнутым воротом, из которого выглядывал щегольской шелковый платок, и белая шапочка, какие Орсон раньше видел только на фотографиях Пандита Неру. Опустив на пол чемодан, Орсон протянул руку. Но вместо рукопожатия сосед сложил ладони, склонил голову и пробормотал что-то — Орсон не разобрал, что именно. Затем он картинно стянул свою белую шапочку, обнажив узкий хохолок светлых курчавых волос, вставших торчком, словно петушиный гребень.

— Я — Генри Паламонтен.

Его голос, внятный и бесцветный, какой бывает на западном побережье, чем-то напоминал голос диктора. Рукопожатие у него было железным, и, казалось, он стиснул руку Орсона как тисками не без толики злорадства. Как и Орсон, он носил очки. Толстые линзы усиливали выпуклость его гипертиреозных глаз и подозрительность его бегающего взгляда.

— Орсон Зиглер, — сказал Орсон.

— Я знаю.

Орсон почувствовал необходимость добавить что-нибудь соответствующее важности момента, ведь они оба стояли на пороге своего рода семейной жизни.

— Ну, Генри, — он пригнулся вбок, опуская второй чемодан, — думаю, нам предстоит частенько видеться.

— Зови меня Хаб, — сказал сосед. — Все меня так зовут, но если настаиваешь, называй Генри. Я не желаю стеснять твою постылую свободу. Вполне возможно, ты вообще не захочешь ко мне никак обращаться. Я уже нажил себе трех заклятых врагов в общежитии.

Каждое предложение в его чеканной речи, начиная с самого первого, раздражало Орсона. Ему самому никогда не давали прозвищ — это была единственная почесть, в которой ему отказали одноклассники. Подростком он сам себе придумывал прозвища — «Орри», «Зигги» — и пытался ввести их в оборот, но безуспешно. А что он подразумевает под «постылой свободой»? Отдает сарказмом. И с чего это он, Орсон, не захочет к нему обращаться вообще никак? И когда он успел нажить врагов? Орсон спросил недовольно:

— И давно ты здесь?

— Восемь дней. — Каждое свое высказывание Генри завершал, странно поджимая губы, словно бесшумно причмокивая, как бы говоря: «Так-то! Что скажешь?»

Орсону показалось, что его принимают за кого-то, кого легко ошеломить. Но он беспомощно согласился на роль простака, как и на вторую, не лучшую, кровать — и то и другое ему предложили как нечто само собой разумеющееся.

— Так *долго*?

— Да. Еще позавчера я был единственным жильцом. Я, знаешь ли, добирался автостопом.

— Из *Орегона*?

— Да. И я выехал с запасом времени, мало ли что. На случай, если меня ограбят, я зашил в рубашку пятидесятидолларовую купюру. Но, как оказалось, мне удалось очень хорошо состыковать все отрезки пути. Я намалевал на плакате: «Гарвард». Попробуй как-нибудь сам. Очень любопытные гарвардские выпускники попадаются.

— А разве твои родители не переживали за тебя?

— Конечно переживали... Они в разводе. Отец рвал и метал. Хотел, чтобы я летел самолетом. Я сказал ему, чтобы он перечислил деньги за авиабилет в Фонд помощи Индии. Он ни гроша не дает на пожертвования. К тому же я взрослый. Мне двадцать.

— Ты служил в армии?

Генри вскинул руки и отпрянул, словно от удара. Он поднес тыльную сторону ладони ко лбу и проскулил «никогда», вздрогнул, вытянулся в струнку и козырнул.

— Вообще-то, в данный момент портлендское призывное бюро охотится за мной. — Словно прихорашиваясь, он поправил платок своими проворными пальцами, которые в самом деле выглядели какими-то немолодыми: худые, жилистые, с красными кончиками, как у женщины. — Они отказываются признавать чьи-либо отказы служить по убеждению, если ты не квакер[[1]](#footnote-1) или меннонит[[2]](#footnote-2). Мой епископ с ними солидарен. Они предложили дать мне освобождение, если я соглашусь работать в госпитале, но я объяснил, что тогда кого-то другого возьмут в действующую армию. И если уж на то пошло, лучше я сам возьму в руки оружие. Я отлично стреляю. Я отказываюсь убивать только из принципа.

В то лето началась война в Корее, и Орсону, которому не давала покоя мысль, что его долг — записаться в армию, претил подобный неприкрытый пацифизм. Он скосил глаза и поинтересовался:

— Чем же ты занимался целых два года?

— Работал на фанерной фабрике склейщиком. Вообще-то, склейкой занимаются машины, но они время от время захлебываются собственным клеем. Что-то вроде чрезмерного самосозерцания. «Гамлета» читал?

— Только «Макбета» и «Венецианского купца».

— М-да. Ну, в общем, их нужно прочищать растворителем. Натягиваешь длинные такие резиновые рукавицы по локоть. Очень умиротворяющая работа. Нутро клеющей машины — идеальное место для повторения греческих цитат. Я так заучил почти всего «Федона»[[3]](#footnote-3).

Он показал на свой стол, и Орсон заметил, что большинство книг — Платон и Аристотель в зеленых переплетах издательства «Леб», на греческом. Корешки были потрепаны; книги выглядели читаными-перечитаными. Впервые мысль о том, что он студент Гарварда, напугала его.

Орсон все еще стоял между своими чемоданами и теперь принялся их распаковывать.

— Ты мне оставил шкаф?

— Конечно. Лучший. — Генри вскочил на незанятую кровать и запрыгал на ней, как на батуте. — И кровать с самым лучшим матрасом, — сказал он, все еще подпрыгивая, — и стол, за которым тебя не будет слепить солнечный свет.

— Спасибо, — сказал Орсон.

Генри сразу же заметил его тон.

— Хочешь мою кровать? Мой стол? — Он спрыгнул с кровати, бросился к своему столу и убрал с него стопку книг.

Орсону пришлось прикоснуться к нему, чтобы остановить. Его поразила напряженная мускулистость плеча, до которого он дотронулся.

— Оставь, — произнес он. — Они совершенно одинаковы.

Генри вернул книги на место.

— Я не хочу никаких обид, — сказал он, — никаких мелочных дрязг. Как старший по возрасту я должен уступать. Вот. Хочешь, возьми мою рубашку. — И начал стягивать с себя рубашку, оставив только платок на шее. Майки на нем не было.

Добившись выражения на лице Орсона, которого тот сам не мог видеть, Генри улыбнулся и снова застегнул рубашку.

— Может, тебе не нравится, что мое имя написано на двери на верхней строке таблички? Сейчас поменяю. Извини. Я просто не предполагал, что ты окажешься таким ранимым.

Быть может, это у него такой своеобразный юмор. Орсон попытался пошутить. Ткнул пальцем и спросил:

— Прялка мне тоже полагается?

— А, это!.. — Генри отпрыгнул назад на босой ноге и вдруг застеснялся. — Это эксперимент. Я выписал ее из Калькутты. Пряду по полчаса в день после йоги.

— Ты и йогой занимаешься?

— Только самые элементарные позы. Мои лодыжки пока не выдерживают больше пяти минут в позе лотоса.

— А говоришь, что беседуешь с епископом.

Во взгляде соседа мелькнул свежий интерес.

— Говорю. Смотри-ка, а ты слушаешь. Да. Я считаю себя христианским англиканским платонистом, испытывающим сильное влияние Ганди[[4]](#footnote-4). — Он сложил ладони перед грудью, поклонился, выпрямился и хихикнул. — Мой епископ меня терпеть не может, — сказал он. — Тот, в Орегоне, который хочет, чтоб меня забрили в солдаты. Я представился здешнему епископу, и, кажется, ему я тоже не понравился. Кстати, я и со своим куратором рассорился. Я сказал ему, что не собираюсь изучать обязательный курс точных наук.

— Бог ты мой, это еще почему?

— Тебе ведь это на самом деле не важно.

Орсон решил, что это небольшая проверка на прочность.

— Действительно не важно, — согласился он.

— Я считаю науку сатанинской иллюзией человеческой гордыни. Иллюзорная суть науки доказывается постоянным ее пересмотром. Я спросил его: «С какой стати я должен терять добрую четверть своего учебного времени — времени, которое можно провести с Платоном, — на то, чтобы изучать кучу гипотез, которые устареют еще до того, как я окончу университет?»

— Ну, Генри, — воскликнул Орсон в раздражении, вставая на защиту миллионов жизней, спасенных медицинской наукой, — это ж несерьезно!

— Хаб, пожалуйста, — Хаб. Тебе это может быть трудно, но я считаю, будет лучше, если ты сразу привыкнешь к моему имени. Теперь поговорим о тебе. Твой отец врач, в школе ты был круглый отличник. Я же учился весьма посредственно. И ты поступил в Гарвард потому, что считаешь, что космополитичная атмосфера восточного побережья пойдет тебе на пользу, после того как ты провел всю жизнь в маленьком провинциальном городке.

— Откуда ты все это вызнал? — Озвученное слово в слово его собственное абитуриентское заявление заставило его покраснеть. Он уже чувствовал себя гораздо старше того мальчика, который это написал.

— В университетской администрации, — сказал Генри. — Я сходил туда и попросил твое личное дело. Сначала они отказывались, но я им объяснил, что если они намерены подселить ко мне соседа после того, как я указал, что хочу жить один, я имею право заранее собрать о тебе сведения, чтобы по возможности избежать конфликтов.

— И они тебе дали мое дело?

— Конечно. Люди без убеждений бессильны сопротивляться.

Он по своей привычке удовлетворенно причмокнул, и Орсона так и подхлестнуло спросить:

— А что же тебя привело в Гарвард?

— Две причины. — Он по очереди отогнул два пальца. — Рафаель Демос и Вернер Егер.

Орсон этих имен не знал, но заподозрил, что его вопрос «Это твои друзья?» прозвучал глупо.

Но Генри кивнул:

— Я представился Демосу. Очаровательный пожилой ученый с молодой красавицей женой.

— Ты хочешь сказать, что просто пришел к нему в дом и напросился в гости?

Орсон услышал, как его голос срывается на фальцет. Свой голос, довольно высокий и неустойчивый, он очень недолюбливал.

Генри заморгал и вдруг сразу показался уязвимым — тоненький, вызывающе одетый, безобразные желтоватые ступни с плоскими ногтями на голом полу, выкрашенном черной краской.

— Я бы сказал иначе. Я пошел к нему как паломник. Похоже, ему было приятно поговорить со мной.

Он говорил, тщательно подбирая слова, и на этот раз обошелся без причмокивания.

То, что он, Орсон, способен уязвить чувства своего соседа — то, что у этого самодовольного привидения вообще есть чувства, — привело его в большее замешательство, чем все нарочно преподнесенные ему сюрпризы. Так же стремительно, как он до этого вскочил, Генри плюхнулся на пол, словно в люк, проделанный в плоскости их разговора. И принялся прясть. Одна нить была обмотана вокруг большого пальца ноги и поддерживалась в натяжении неким полумашинальным «педальным» движением. За этим занятием он, казалось, герметично закупорен в недрах клеющих машин, где вынашивалась его дутая философия. Распаковывая вещи, Орсон почувствовал, как на него навалилось и стало мешать сложное ощущение дискомфорта. Он попытался вспомнить, как дома его мама раскладывала вещи по ящикам — носки и белье в один, рубашки и платки в другой. Дом казался бесконечно далек от него; у Орсона закружилась голова от пропасти, разверзшейся у него под ногами, словно чернота пола была цветом бездны. Вертящееся колесо издавало ровное кряхтение. Стесненность Орсона висела в комнате и оседала на соседе, очевидно погруженном в глубокие размышления о высоких материях, о которых Орсон, занятый только мыслями о том, как стать хорошим студентом, едва ли задумывался. Было также ясно, что Генри мыслил не как заправский интеллектуал. Эта неинтеллектуальность («я учился весьма посредственно») несла в себе скорее угрозу, чем утешение. Орсон склонился над ящиками шкафа, и в голове у него словно что-то заклинило, теперь ему ни распрямиться в откровенном презрении, ни пасть ниц в искреннем восхищении. Его настроение осложнялось отвращением, которое вызывало в нем физическое присутствие соседа. Почти болезненного чистюлю, Орсона угнетало фантомное присутствие клея, и каждое его движение стесняла липкая атмосфера.

Молчание, воцарившееся между соседями, длилось, пока не зазвенел мощный звонок. Звон был рядом и тем не менее далеко, словно биение сердца в груди времени, и, казалось, принес с собой в комнату приглушенный шелест листвы растущих во дворе деревьев, которые привыкшее к прериям зрение Орсона принимало за высокие и пышные, как в тропиках. На стенах комнаты подрагивали тени от листьев, и множество мимолетных присутствий — пылинки, звуки автомобилей или ангелы, умеющие танцевать на булавочной головке, — пресытили воздух так, что стало трудно дышать. Загремели лестничные пролеты. Мальчики, в пиджаках и галстуках, столпились в дверном проеме и ввалились в комнату с хохотом и криком:

— Хаб! Эй! Хаб!

— Встань с пола, папочка.

— Хаб, обуйся ты, ради бога.

— Фью.

— Да сними ты с шеи этот кокетливый саронг!

— Хаб, посмотри на лилии: они не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.

— Аминь, братья.

— Ну, Фитч, тебе только проповеди и читать!

Орсон никого не знал. Хаб встал и без запинки представил ему всех по очереди.

Через несколько дней Орсон разложил их всех по полочкам. Эта пестрая толпа, очевидно незлобивая и однородная, при нормальном стечении обстоятельств распалась на соседские пары: Сильверштейн и Кошланд, Доусон и Керн, Янг и Картер, Петерсен и Фитч.

Сильверштейн и Кошланд, из комнаты над Орсоном, были евреи из Нью-Йорка. О небиблейских евреях Орсон знал лишь то, что они печальный народ, исполненный музыки, расчетливости, проницательности, практичности и скорби. Но Сильверштейн с Кошландом вечно паясничали и говорили колкости. Они играли в бридж и покер, в шахматы и го, ездили на фильмы в Бостон и пили кофе в закусочных, разбросанных вокруг Гарвардской площади. Они были выпускниками школ для «одаренных», один из Бронкса, другой из Бруклина, и к Кембриджу относились так, словно это был один из районов Нью-Йорка. Кажется, им уже была известна большая часть того, чему их должны были научить на первом курсе. С наступлением зимы Кошланд стал заниматься баскетболом, и они с друзьями заставляли ходить ходуном потолок в борьбе за теннисный мяч и корзину для мусора. Однажды днем кусок потолка рухнул на кровать Орсона.

За стеной, в комнате 12, жили Доусон и Керн, оба хотели стать писателями. Доусон был родом из Огайо, а Керн из Пенсильвании. У мрачноватого и сутулого Доусона было выражение щенячьего рвения на лице и жуткий характер. Он считал себя учеником Шервуда Андерсона[[5]](#footnote-5) и Хемингуэя и писал сухим газетным языком. Его воспитали атеистом, и никто во всем общежитии не раздражал Доусона так, как Хаб. Орсону, сознававшему, что они с Доусоном происходят из противоположных концов одного и того же великого психологического пространства, именуемого Средний Запад, Доусон нравился. Вот с Керном, который представлялся ему утонченно порочным человеком с Востока, он чувствовал себя немного не в своей тарелке. Мальчик с фермы, которым двигала противоестественная тяга к изощренности, обремененный нервными заболеваниями, начиная конъюнктивитом и кончая геморроем, Керн непрерывно курил и говорил. Они с Доусоном постоянно перекидывались остротами. По ночам Орсону было слышно, как они за стенкой развлекаются, сочиняя куплеты и импровизированные пародии на своих преподавателей, университетские предметы или приятелей-сокурсников. Однажды в полночь Орсон явственно услышал, как Доусон пропел: «Я Орсон Зиглер из Южной Дакоты». Затем последовала пауза, после чего Керн пропел в ответ: «Я ворчу и онанизмом занимаюсь до икоты».

Напротив по коридору, в номере 15, жили Янг и Картер. Негры. Картер был родом из Детройта, до ужаса черный, говорил отрывистыми фразами, изысканно одевался и мог рухнуть на пол от одной метко пущенной шутки и корчиться в судорогах хохота до слез. Керн был специалист по раскалыванию Картера. Худощавый бледноватый Янг приехал из Северной Каролины, в Гарварде он учился благодаря национальной стипендии; извлеченный из своей глубинки, он тосковал по дому и вечно мерз. Керн прозвал его «Братец Опоссум». Он целый день спал, а по ночам сидел на кровати и наигрывал что-то для себя на мундштуке от трубы. Поначалу он играл на трубе днем, наводняя общежитие и его зеленый пояс из деревьев золотистыми подрагивающими вариациями на тему томных мелодий вроде «Сентиментального путешествия» и «Теннесси-вальса». Это было мило. Но гипертрофированная тактичность Янга — склонность к раболепному самоуничижению, пробудившаяся от его потрясенности Гарвардом, — вскоре положила конец этому безобидному музицированию. Он стал прятаться от солнца, и тихий посвист, доносившийся из коридора по ночам, засыпающему Орсону представлялся музыкой, тонущей от стыда. Картер всегда называл своего соседа «Джонатаном», старательно выговаривая слоги, словно произносил имя кого-то извлеченного из глубины веков, о ком он только что узнал, вроде Ларошфуко[[6]](#footnote-6) или Демосфена[[7]](#footnote-7).

В углу в конце коридора, в несчастливом номере 13, составили странную семейку Петерсен и Фитч, оба длинные, узкоплечие и широкозадые; если отвлечься от телосложения, то трудно было сказать, что у них общего или почему их поселили вместе. Фитч, с черными сверлящими глазами и приплюснутым черепом франкенштейновского монстра, был вундеркиндом из штата Мэн, напичканным философией и несусветными идеями. Он носил в себе зерна нервного срыва, который ему предстояло в конце концов испытать в апреле. Петерсен был приветливый швед с прозрачной кожей, сквозь которую проступали синие вены на носу. Несколько лет он проработал репортером дулутской газеты «Геральд». Он набрался всех репортерских штучек: ухмылочка в уголке рта, глоток виски, заломленная на затылок шляпа, привычка бросать на пол непогашенный окурок. Он и сам, кажется, не совсем понимал, зачем ему Гарвард, и действительно — после первого курса он не вернулся. Но пока эти двое двигались навстречу своим провалам, они составили на удивление прочно сколоченную пару. Каждый из них обладал талантом, который отсутствовал у другого. Фитч был настолько неорганизованный и несобранный, что не умел даже печатать на машинке. Он лежал на кровати в пижаме, корчась и гримасничая, и диктовал заумную курсовую по гуманитарным наукам, вдвое больше заданного объема и главным образом по книгам, которых они не проходили, а Петерсен, печатая лихорадочным двухпальцевым методом, послушно превращал этот запутанный хаотичный монолог в «текст». Его терпение граничило с материнским. Когда Фитч выходил к обеду в костюме и галстуке, в общежитии шутили, что это Петерсен его приодел. В свою очередь Фитч делился с Петерсеном идеями, в чрезмерном изобилии распиравшими его огромную сплюснутую башку. Петерсен был начисто лишен каких-либо идей, не способен был ни сравнивать, ни противопоставлять, ни подвергать критическому разбору Святого Августина[[8]](#footnote-8) и Марка Аврелия. Быть может, насмотревшись в свои юные годы на столько трупов, пожаров, полицейских и проституток, он преждевременно отравил свое сознание. Так или иначе, материнская забота о Фитче стала для Петерсена вполне конкретным делом, и Орсон им завидовал.

Он завидовал всем соседям, независимо от того, что их связывало — география, раса, честолюбие или физические данные, — ибо между собою и Хабом Паламонтеном он не мог усмотреть ничего общего, кроме вынужденного совместного проживания. Не то чтобы жить вместе с Хабом было неприятно. Хаб был опрятен, усерден и нарочито тактичен. Он вставал в семь, молился, занимался йогой, садился за прялку, уходил завтракать и зачастую до конца дня не появлялся. Обычно он ложился спать ровно в одиннадцать. Если в комнате было шумно, он затыкал уши резиновыми пробками, надевал на глаза черную маску и засыпал. День у него был расписан по часам: он как вольнослушатель посещал два лекционных курса вдобавок к четырем обязательным, трижды в неделю занимался борьбой, чтобы получить зачет по физкультуре, напрашивался на чаепития с Демосом, Егером и епископом Массачусетсом, посещал бесплатные вечерние лекции и чтения, работал в благотворительной организации «Дом Филипса Брукса» и дважды в неделю наставлял на путь истинный беспризорников в исправительной колонии Роксбери. В довершение ко всему он начал брать уроки фортепьяно в Бруклине. Много дней Орсон виделся с ним только в столовой студенческого союза, где соседи по общежитию в те первые осенние месяцы, когда их дружба была еще свежа и молода и разнящиеся увлечения еще не рассеяли их, пытались перегруппироваться вокруг длинного стола. В те месяцы они часто дискутировали на тему, возникшую у них на глазах, — вегетарианство Хаба. Вот он сидит, у него на подносе двойная порция дымящихся бобов и тыквы, а тем временем Фитч пытается нащупать точку, в которой вегетарианство теряет свою последовательность.

— Ты ешь яйца, — говорит он.

— Ем, — отвечает Хаб.

— А осознаешь ли ты, что каждое яйцо, с куриной точки зрения, есть новорожденное дитя?

— Вообще-то, это не так, покуда яйцо не оплодотворено петухом.

— Но допустим, — настаивает Финч, — как иногда случается, и это известно мне по работе на дядиной птицеферме в Мэне, что яйцо, которое должно быть неоплодотворенным, на самом деле оплодотворено и содержит зародыш?

— Если мне попадется такое яйцо, я, разумеется, не стану его есть, — сказал Хаб, удовлетворенно причмокнув.

Фитч торжествовал и от избытка чувств смахнул со стола вилку.

— Но почему? Ведь курица испытывает ту же боль, расставаясь с яйцом, независимо от того, оплодотворено оно или нет. Зародыш бессознателен — он овощ. И как вегетарианец ты должен был бы съесть его с особым наслаждением. — Он так сильно откинулся на спинку стула, что ему пришлось ухватиться за край стола, чтобы не опрокинуться.

— Мне кажется, — сказал Доусон, мрачно хмурясь: эти диспуты закупоривали какие-то уголки его «я» и приводили в дурное расположение духа, — что вряд ли имеет смысл заниматься психоанализом куриц.

— Напротив, — живо откликнулся Керн, откашливаясь и прищуривая свои красные, воспаленные глаза, — мне кажется, там, в крошечном, туманном сознании курицы — минимальном, так сказать, сознании, трагедия вселенной достигает кульминационной точки. Представьте эмоциональную жизнь курицы. Что такое для нее дружба? Стая клюющих, горланящих сплетниц. Дом? Несколько забрызганных пометом жердочек. Пища? Какие-то крохи, небрежно швырнутые на землю. Любовь? Случайные набеги петуха-многоженца. И вот в этот бессердечный мир вдруг является, словно по волшебству, яйцо. Ее собственное. Яйцо, созданное ею и Богом, так ей должно казаться. Как она должна лелеять это яйцо, его прекрасную обнаженность, нежное свечение, твердую и вместе с тем хрупкую увесистость.

Картер наконец не выдержал. Он согнулся над своим подносом, его глаза плотно закрыты, темное лицо искажено от смеха.

— Умоляю, — выдавил он из себя с трудом. — У меня из-за тебя колики в животе.

— Ах, Картер, — высокопарно произнес Керн, — это еще не самое большое зло. Ведь в один прекрасный день, пока невинная курица сидит, высиживая свое странное, безликое, овальное дитя и лаская его крыльями, — он с надеждой смотрит на Картера, но тот из последних сил сдерживается, закусив нижнюю губу, — здоровенный мужлан, от которого несет пивом и навозом, приходит и вырывает яйцо из ее объятий. А все почему? Да потому что *ему,* — Керн показывает, вытянув на полную длину руку через весь стол, так чтобы его указательный палец, пожелтевший от никотина, почти уперся в нос Хабу, — ему, святому Генри Паламонтену, захотелось полакомиться яйцами. «Яиц, еще яиц!» — вопит он ненасытно, а несчастные дети американских матерей пусть и дальше страдают от грубых быков и неправедных свиней!

Доусон бросил на стол вилку и нож, встал из-за стола и, согнувшись пополам, вышел из столовой. Керн побагровел. В тишине Петерсен положил сложенный ломтик ростбифа в рот и произнес, пережевывая:

— Брось, Хаб, если кто-то все равно забивает животных, то почему бы тебе их не есть! Животным уже без разницы.

— Ты ничего не понимаешь, — просто ответил ему Хаб.

— Послушай, Хаб, — сказал с другого конца стола Сильверштейн, — а как же быть с молоком? Разве телята не пьют молоко? Может, из-за тебя какой-нибудь несчастный теленок недоедает?

Орсон почувствовал, что нужно вмешаться.

— *Нет,* — сказал он, и ему показалось, что он вскрикнул, голос его был нетвердый и возбужденный. — Как известно всем, кроме некоторых жителей Нью-Йорка, телят отлучают от дойных коров. Хаб, меня другое интересует — твои туфли. Ты носишь кожаную обувь.

— Ношу.

В оправданиях Хаба уже не осталось задора. Его губы неприязненно сжались.

— Кожа — это бычья шкура.

— Но животное уже забито.

— Ты заговорил как Петерсен. То, что ты покупаешь изделия из кожи — бумажник и ремень, кстати, тоже не забудь, — поощряет убийство. Ты такой же убийца, как все мы. Даже хуже, чем мы, потому что ты об этом задумываешься.

Хаб аккуратно сложил перед собой руки на краю стола, словно для молитвы. Он заговорил голосом радиокомментатора, скороговоркой, без запинки описывающего финишную прямую на скачках:

— Мой ремень, насколько я знаю, из пластика. Бумажник мне подарила мать задолго до того, как я стал вегетарианцем. Пожалуйста, не забывайте, что я восемнадцать лет питался мясом и до сих пор не потерял к нему вкус. Если бы существовал другой источник концентрированного белка, я бы отказался от яиц. Некоторые вегетарианцы так и поступают. С другой стороны, есть вегетарианцы, которые едят рыбу и принимают печеночный экстракт. Я бы на их месте не стал этого делать. Обувь — действительно проблема. В Чикаго есть фирма, выпускающая некожаную обувь для самых правоверных вегетарианцев, но она очень дорогая и неудобная. Я однажды заказал пару. Чуть без ног не остался. Кожа, знаете ли, «дышит», как ни один другой синтетический материал. У меня очень чувствительные ноги. Я пошел на компромисс. Приношу свои извинения. Играя на пианино, я способствую убийству слонов, чистя зубы, а я это делаю регулярно, потому что вегетарианская диета полна углеводов, я пользуюсь щеткой из свиной щетины. Я по уши в крови и каждый день молю о прощении. — Он взял вилку и принялся доедать гору тыквы.

Орсон был изумлен; он, можно сказать, из сострадания к Хабу вступился за него, а Хаб отвечал так, словно из всех присутствовавших только Орсон его недруг. Он попытался что-то сказать в свою защиту.

— Есть отличные туфли, — сказал он, — из парусины на каучуковой подошве.

— Надо будет выяснить, — отвечал Хаб. — Судя по описанию, у них чересчур спортивный для меня фасон.

Весь их стол грохнул от хохота, и тема была закрыта. После обеда Орсон отправился в библиотеку, чувствуя, что в животе творится что-то неладное, — переживания плохо отразились на его пищеварении. В нем росло замешательство, которое он не мог разрешить. Орсону претило, что он у всех ассоциируется с Хабом, и тем не менее он чувствовал себя уязвленным, когда задевали Хаба. Ему казалось, что Хабу нужно отдать должное за то, что он тверд в своих убеждениях не только на словах, но и на деле, и что люди вроде Фитча и Керна, подтрунивая над ним, сами себя принижают. Однако у Хаба их нападки вызывали лишь улыбку, будто это игра, и только Орсону он давал решительный отпор, вынуждая того занимать неискреннюю позицию. Почему? Может, потому, что один Орсон как христианин заслуживал серьезной отповеди? Но тот же Картер каждое воскресенье ходит в церковь — в синем костюме в тонкую полосочку и с платком с монограммой в нагрудном кармане; Петерсен — номинально пресвитерианец; однажды Орсон приметил, как украдкой выходит из церкви Керн; и даже Кошланд соблюдает свои праздники, пропуская занятия и обед. Почему же тогда, спрашивал себя Орсон, Хаб зациклился на нем? И почему ему не все равно? Он не испытывал к Хабу большого уважения. Хаб писал по-детски крупным и старательным почерком и первую серию экзаменов по Платону и Аристотелю сдал на «посредственно». Орсона раздражало, что к нему со снисхождением относится тот, кто уступает ему в интеллектуальном плане. И проигранный спор за столом раздосадовал его как незаслуженно низкая оценка. Его отношения с Хабом рисовались ему некоей схемой, в которой все намеченное им шло наперекосяк, а его преимущества оборачивались недостатками. За схемой маячила самодовольная ухмылка Хаба, нахальные глазки, тошнотворные как по форме, так и по цвету кожи руки и ступни. Эти видения — Хаб, разобранный на части, — Орсон принес с собой в библиотеку, оттуда потащил на занятия и дальше, по запруженным улицам вокруг площади; то тут, то там блестящий глаз или плоский желтоватый ноготь большого пальца ноги явственно всплывал перед ним со страниц книг и, многократно увеличенный, уносился вместе с Орсоном в бессознательность сна. Тем не менее он сам удивился, когда, сидя однажды февральским днем в комнате 12 с Доусоном и Керном, вдруг брякнул:

— Ненавижу его. — Он прислушался к своим словам, попробовал их на вкус и повторил: — Ненавижу гада. Не было еще, чтобы я так кого-нибудь ненавидел. — Его голос дрогнул, и глаза потеплели от напрасных слез.

Они все вернулись после рождественских каникул, чтобы окунуться с головой в странное забытье на период чтения и новые муки сессии. В этом общежитии обитали главным образом выпускники государственных школ, которые тяжелее всего переносят гарвардские перегрузки на первом курсе. Мальчики из частных школ, окончившие «Гарвард» в миниатюре, вроде Экзетера и Гротона, на первом курсе учатся гладко, это позже их выбрасывает на незнакомые рифы, и они тонут в вине или впадают в показную апатию. Но, так или иначе, каждый, прежде чем выпуститься из этого заведения, обязан пройти через мучительное избавление от балласта. Во время рождественских каникул мама Орсона заметила, что ее сын выглядит осунувшимся, и принялась его откармливать. А он был поражен тем, насколько состарился и исхудал его отец. Первые дни Орсон провел дома, часами слушая по радио безмозглую музыку и разъезжая по узким прямым дорогам, проложенным в полях, уже сверкающих бороздами вспаханного снега. Никогда еще небо Южной Дакоты не выглядело таким открытым, чистым, ясным. Он никогда раньше не задумывался, что высокое сухое солнце, которое даже морозные дни в полдень делало теплыми, было явлением местным. Орсон опять занимался любовью со своей девушкой, и опять она расплакалась. Он сказал ей, что во всем винит себя — за неумение, хотя в глубине души винил ее. Она не помогала ему. В Кембридже шли дожди, — это в январе-то. Перед входом в студенческий торговый центр было множество серых следов, мокрых велосипедов и девушек из Рэдклиффского колледжа в плащах и кроссовках. Хаб остался в их комнате один и отпраздновал Рождество постом.

Во время однообразного, почти иллюзорного месяца, проведенного за перечитыванием, конспектированием и зубрежкой, Орсон понял, как мало он знает, как он глуп, как неестественно всякое учение — и как тщетно. Гарвард вознаградил его тремя оценками «отлично» и одной «хорошо». Хабу досталось две «хорошо» и одна «посредственно». У Керна, Доусона и Сильверштейна результаты были хорошие; у Петерсена, Кошланда и Картера посредственные; Фитч завалил один предмет, Янг — три. Бледнолицый негр приходил в общежитие и уходил украдкой, словно был болен и намечен к отбраковке, — он по-прежнему оставался в университете, но его никто не видел, он превратился в слух о самом себе. Приглушенного насвистывания на мундштуке трубы больше не было слышно. Сильверштейн, Кошланд и баскетбольная братия приняли в свои ряды Картера и по три-четыре раза в неделю брали его с собой в кино.

После экзаменов, в разгар кембриджской зимы, наступает благословенная передышка. Выбираются новые предметы, и даже на годичных курсах, переваливших во второе полугодие, появляется свежий профессор, как новая шляпа. Дни потихоньку прибывают; случается одна-другая метель; команды пловцов и теннисистов нет-нет да и подарят спортивным полосам студенческой газеты «Кримзон» непривычное известие о победе. На снег предзнаменованием весны ложатся голубоватые тени. Кажется, что вязы приняли форму фонтанов. Кружочки снега, вдавленные каблуками в тротуары близ «Альбиани», кажутся крупными ценными монетами.

Кирпичные здания, арочные ворота, старинные фонари и громоздкие особняки вдоль Братл-стрит видятся первокурснику наследием, доставшимся ему во временное пользование. Истрепанные корешки теперь уже знакомых ему учебников представляются свидетельством определенных познаний, и ремешок зеленой сумки для книг давит на запястье, словно охотничий сокол. Письма из дома становятся уже не так важны. Появляются просветы в занятиях. Высвобождается время. Ставятся эксперименты. Начинаются ухаживания. Разговоры тянутся и тянутся. И почти безудержное стремление познать друг друга властвует над знакомствами. Вот в такой атмосфере Орсон и сделал свое признание.

Доусон отвернулся, будто в этом признании крылась угроза для него лично. Керн заморгал, прикурил сигарету и спросил:

— Что тебе в нем не нравится?

— Ну, — Орсон устроился поудобнее на черном, но изящном, стройном и вместе с тем жестком гарвардском стуле, — в основном мелочи. Скажем, получит повестку из портлендского призывного бюро, тут же порвет на кусочки, не читая, и в окно.

— И ты опасаешься, что сам становишься пособником преступления и за это тебя могут посадить?

— Нет... не знаю. Все это как-то чересчур. Он все делает нарочито. Вы бы видели, как он молится.

— Откуда ты знаешь, как он молится?

— Он мне показывает. Каждое утро он встает на колени и падает ниц на кровать, лицом в одеяло, руки раскинуты в стороны. — Орсон продемонстрировал.

— Боже праведный, — сказал Доусон. — Здорово! Прямо Средневековье. Нет, еще чище — Контрреформация.

— Я хочу сказать, — произнес Орсон, морщась от осознания того, насколько основательно он предает Хаба, — я тоже молюсь, но я не делаю это напоказ.

По лицу Доусона пробежала и исчезла тень.

— Он святой, — сказал Керн.

— Ничего подобного, — сказал Орсон. — У него никакого интеллекта. Я прохожу с ним начальный курс химии, в математике он разбирается хуже ребенка. А эти книги на греческом, которые он держит у себя на столе, они потому потрепанные, что он купил их у букиниста уже подержанными.

— Святым не нужен интеллект, — сказал Керн. — Святым нужна энергия. У Хаба она есть.

— Посмотри, как он борется, — сказал Доусон.

— Сомневаюсь, что уж очень хорошо, — сказал Орсон. — Его даже не приняли в команду первокурсников. Мы еще не слышали, как он играет на пианино, наверняка кошмар!

— Ты, кажется, упускаешь главное, — сказал Керн, жмурясь, — сущность Хаба.

— Я отлично знаю, что он собой представляет, — сказал Орсон, — а сущность его — в притворстве. Все это его вегетарианство и любовь к голодающим индусам... на самом деле он холодный, расчетливый сукин сын, самый бессердечный тип, другого такого еще поискать!

— Вряд ли Орсон так думает. А ты как считаешь? — спросил Керн Доусона.

— Нет, — ответил Доусон, и его щенячья улыбка развеяла сумрак с его лица. — Орсон-Пастырь так не думает.

Керн прищурился:

— Орсон-Пастырь или Орсон-Пластырь?

— Я думаю, дело в Хабе, — сказал Доусон, — в Хабе есть изюминка.

— Или — оскоминка, — добавил Керн, и они расхохотались.

Орсон понял, что его приносят в жертву шаткому перемирию, которое поддерживали двое соседей между собой, и ушел, на вид разобиженный, но втайне польщенный тем, что его наконец наградили хоть каким-то прозвищем — Орсон-Пастырь.

Спустя несколько дней они вчетвером, обитатели двух соседних комнат, плюс Фитч пошли послушать Карла Сэндберга[[9]](#footnote-9) в новой аудитории. Чтобы не сидеть рядом с Хабом, который хотел решительно усадить их в один ряд, Орсон задержался и сел как можно дальше от девушки, прямо за которой сидел Хаб. Орсон сразу заметил ее. У нее была пышная копна медно-рыжих волос, распущенных по спинке сиденья. Их цвет и обилие напомнили ему сразу о лошадях, земле, солнце, пшенице и доме. С того места, где сидел Орсон, она была видна почти в профиль. Лицо у нее было маленькое, с расплывчатой скулой и крупным бледным ухом. Он ощутил страстное влечение к бледности ее профиля. Она казалась подвешенной в толпе и плывущей к нему, как островок белизны. Она отвернулась. Хаб подался вперед и что-то проговорил ей в другое ухо. Фитч услышал его слова и весело передал их Доусону, который прошептал Керну и Орсону:

— Хаб сказал ей: «У вас прекрасные волосы».

Во время выступления Хаб то и дело склонялся к ее уху и добавлял что-то еще, каждый раз вызывая приступы сдавленного смеха у Фитча, Доусона и Керна. А Сэндберг, с белой челкой, сверкающей и прямой, как кукольный парик из искусственного волокна, вещал с кафедры нараспев, под бренчание гитары. Потом Хаб вышел с девушкой из аудитории. Издалека Орсон видел, как она поворачивалась и ее белоснежное лицо морщилось от смеха. Хаб вернулся к друзьям; в темноте его самодовольная ямочка в уголке рта разрослась до складки.

Не на следующий день и не через неделю, а спустя месяц Хаб приволок в комнату ворох рыжих волос. Орсон обнаружил их на своей собственной кровати, распростертыми, словно некие просвечивающие останки, на разостланной газете.

— Хаб, это еще что за чертовщина?

Хаб на полу возился с прялкой.

— Волосы.

— Человеческие?

— Конечно.

— Чьи?

— Одной девушки.

— Что случилось? — вопрос прозвучал странно. Орсон хотел спросить: «Какой девушки?»

Хаб ответил, будто об этом его и спросили:

— Девушки, которую я встретил на выступлении Сэндберга. Ты ее не знаешь.

— Так это ее волосы?

— Да. Я их у нее попросил. Она сказала, что все равно собирается весной состричь их напрочь.

Орсон, ошеломленный, стоял над кроватью; ему отчаянно хотелось зарыться лицом в эти волосы, запустить в них руки.

— Ты с ней встречаешься? — Он презирал эти женоподобные нотки в своем голосе; они появлялись у него только из-за Хаба.

— Иногда. Мой распорядок дня почти не оставляет мне времени для общения, но мой куратор советует мне хоть иногда расслабляться.

— Ты водишь ее в кино?

— Бывает. За свой билет платит она, разумеется.

— Разумеется!

Хаб уловил его интонацию:

— Пожалуйста, не забывай, что я здесь живу исключительно на свои сбережения. Я отказался от финансовой поддержки отца.

— Хаб, — уже само его односложное имя казалось ему олицетворением неприязни, — что ты собираешься делать с ее волосами?

— Спряду из них веревку.

— Веревку?

— Да. Это будет очень трудно. Волосы ужасно тонкие.

— И что ты собираешься делать с этой веревкой?

— Завяжу ее в узел.

— Узел?

— Так это, кажется, называется. Заплету, чтобы не развязался, верну ей, и у нее волосы останутся такими, какими были в девятнадцать лет.

— Как тебе удалось подбить на это бедную девочку?

— Я ее не подбивал. Я просто предложил, и она сочла это замечательной идеей. Ей-богу, Орсон, я не понимаю, чем это оскорбляет твои буржуазные предрассудки? Женщины все время стригут волосы.

— Она, должно быть, думает, что ты спятил. Она над тобой посмеялась.

— Как тебе будет угодно. Это было исключительно разумное предложение, и вопрос о моем душевном здоровье никогда между нами не возникал.

— А вот я думаю, что ты спятил. Хаб — ты псих.

Орсон вышел из комнаты, хлопнув дверью, и не возвращался до одиннадцати, когда Хаб уже спал в своей маске. Ворох волос переместился на пол рядом с прялкой, в которую уже были заправлены несколько прядей. Со временем была свита веревка — толщиной с женский мизинец и длиной около фута, невесомая и послушная в руках. В волосах пропал земляной конский пламенный отлив, погашенный в процессе плетения. Хаб бережно свернул веревку в кольцо, черными нитями и длинными заколками скрепил ее, так что получился диск величиной с блюдце. Однажды вечером в пятницу он преподнес свое творение девушке. И этим, похоже, удовлетворился; насколько было известно Орсону, Хаб с ней больше не встречался. Время от времени Орсон проходил мимо нее во дворе; без своих волос она едва производила впечатление существа женского пола, ее бледное личико было окаймлено короткими пучками, уши казались огромными. Ему хотелось заговорить с ней; невыразимое чувство жалости или надежды на спасение призывало его поздороваться с этим печальным подобием женщины, но слова застревали в горле. Не было похоже, чтобы она жалела себя или осознавала, что с ней сотворили.

Хаба оберегала какая-то колдовская сила; все от него отскакивало. Сомнения, высказанные Орсоном по поводу душевного здоровья Хаба, обернулись против него самого. По мере того как медленно наступала весна, он лишился сна. Цифры и факты лениво ворочались в месиве его бессонницы. Курсы, которые он слушал, превратились в четыре одновременно решаемые головоломки. В математике главное преобразование, на котором зижделось решение задачи, постоянно ускользало от него, просачиваясь сквозь зазоры между числами. Количества веществ в химии становились бесовски нестойкими; неуравновешенные чашки весов резко падали, и вся система взаимосвязанных элементов, уносимых вентиляцией в небеса, рушилась. По истории они дошли до эпохи Просвещения, и Орсон не на шутку увлекся вольтеровским обличением Бога, хотя лектор говорил об этом спокойно, как об очередном мертвом предмете интеллектуальной истории, ни истинном, ни ложном. А в немецком языке, выбранном Орсоном в качестве обязательного, словеса громоздились безжалостно одно на другое, и существование всех прочих языков, помимо английского, существование такого множества языков, причем каждый — необъятный, запутанный и непроницаемый, словно доказывало факт вселенского помешательства. Он чувствовал, как его рассудок, который всегда был скорее твердым, чем быстрым, работает все медленнее и медленнее. Его стул грозил приклеиться к нему, и Орсон вскакивал с него в паническом ужасе. Страдающий бессонницей, напичканный информацией, которую он не мог ни забыть, ни переварить, он пал жертвой навязчивого бреда, вбил себе в голову, что его девушка в Южной Дакоте сошлась с другим парнем и беззаботно занимается с ним любовью, а Орсону остается позор и вина за то, что он лишил ее девственности. Даже в буковках, выписанных шариковой ручкой Эмили в ее нежных письмах, ему мнилась сытость удовлетворенной другим женщины. Он даже знал, кто ее ублажает. Пятнистый Лось, индеец с грязными ногтями, бесстрастная точность которого так часто обманывала Орсона на баскетбольной площадке, непостижимая ловкость и быстрота реакции которого казались такими несправедливыми, незаслуженными и на защиту которого, припоминал теперь Орсон, так часто становилась Эмили. Его жена стала потаскухой, индейской подстилкой; худосочные молчаливые дети из резервации, которых его отец лечил в благотворительной клинике, превратились среди мелькающих в его мозгу картинок в его собственных детей. В своих снах, или в тех болезненных видениях, которые из-за бессонницы сходили за сны, ему мерещилось, будто его сосед по комнате — Пятнистый Лось, который иногда носил маску и неизменно завоевывал, обманным путем, любовь и восхищение, по праву принадлежавшие Орсону. Здесь был заговор. Когда бы Орсон ни услышал смех Керна и Доусона из-за стены, он знал, что насмехаются над ним и его сокровенными привычками. Нагло вторгаются в его самое потаенное, вот до чего дошло; лежа в постели в полузабытьи, он вдруг видел себя в плотском соприкосновении с губами Хаба, с его ногами, с его пронизанными венами женственными руками. Поначалу он сопротивлялся этим видениям, старался стереть их — это было все равно что пытаться разгладить рябь на воде. Он научился им подчиняться, позволять нападению — а то было нападение с зубами и акробатическими скачками — захлестывать его, ослабляя настолько, чтобы он смог уснуть. Эти погружения были единственным путем ко сну. Утром он пробуждался и видел Хаба — показушно растянувшегося на кровати в молитве, или сидящего, сгорбившись, перед прялкой, или разодетого в пух и прах, крадущегося на цыпочках к двери и тихо затворяющего ее за собой в стремлении проявить нарочитую заботу, — и Орсон ненавидел его, весь его облик, силуэт, манеры, поведение, претензии, ненавидел с такой жадностью к мелочам, какой в любви у него никогда не было. Мельчайшие подробности внешности соседа — морщины, мелькающие у рта, пожухлая кожа на руках, самодовольные, начищенные складки кожаных ботинок — казались Орсону отравой, которую он ел и не мог остановиться. Его экзема разыгралась не на шутку.

К апрелю Орсон созрел для того, чтобы обратиться в нервное отделение студенческой клиники. Но в последний момент его выручил Фитч, который словно взял его нервный срыв на себя. Неделю за неделей Фитч принимал душ по нескольку раз в день. В конце концов он перестал появляться на занятиях и ходил почти нагой, если не считать полотенца, обмотанного вокруг талии. Он пытался закончить реферат по гуманитарным наукам, срок сдачи которого истек месяц назад и объем которого превышал установленный уже на целых двадцать страниц. Он выходил из общежития только чтобы поесть и набрать побольше книг из библиотеки. Однажды вечером, около девяти, Петерсена позвали к телефону на площадку третьего этажа. Полиция Уотертауна подобрала Фитча в тот момент, когда он продирался сквозь заросли на берегу реки Чарльз в четырех милях отсюда. Он заявлял, что направляется на Запад, где, по слухам, достаточно места, чтобы вместить Бога, и потом в диком возбуждении затеял с начальником полиции беседу о различиях и сходствах между Кьеркегором и Ницше. Хаб, никогда не упускавший возможности вмешаться под видом благого дела, отправился к проректору — долговязому и бормочущему аспиранту-астроному, занятому бесконечным подсчетом галактик по заданию директора обсерватории Харлоу Шепли, — и навязался в качестве эксперта по данному случаю и даже переговорил с психологом из изолятора. Согласно толкованию Хаба, Фитч понес наказание за свою гордыню, а психолог считал, что проблема лежит исключительно в сфере эдипова комплекса. Фитча отослали в Мэн. Хаб сказал Орсону, что теперь Петерсену нужно подобрать соседа по комнате на будущий год.

— Думаю, вы с ним прекрасно уживетесь. Вы оба материалисты.

— Я не материалист.

Хаб воздел свои жуткие руки в полублагословении:

— Будь по-твоему. Я только хочу избежать конфликтов.

— Черт возьми, Хаб, все конфликты между нами — из-за тебя.

— Как так? Что я такого делаю? Скажи мне, и я исправлюсь. Хочешь, я поделюсь с тобой последней рубашкой.

Он начал расстегивать пуговицы и остановился, поняв, что смеха не предвидится.

Орсон почувствовал слабость и опустошенность и, вопреки себе, преисполнился беспомощным обожанием к своему фальшивому, недосягаемому другу.

— Я не знаю, Хаб, — признал он, — я не знаю, что ты со мной делаешь.

Между ними в воздухе пролегла клейкая полоса молчания.

Орсон не без усилия нарушил это молчание:

— Пожалуй, ты прав, в следующем году нам не следует селиться вместе.

Хаб, похоже, немного смутился, но кивнул:

— Я же им с самого начала говорил, что должен жить один.

И его обиженные выпученные глаза за линзами приняли неуязвимое иезуитское выражение.

Однажды в полдень, в середине мая, Орсон сидел прикованный к своему столу, пытаясь заставить себя заниматься. Он сдал два экзамена, оставалось еще два. Они стояли меж ним и его освобождением, возвышаясь, как две стены из мутной бумаги. Его положение представлялось ему очень шатким; отступать ему было некуда, а идти вперед он мог только по очень тонкой нити, высоко натянутой проволоке психического равновесия, над бездной статистики и формул; его мозг превратился в твердь из мерцающих клеточек. Его мог убить один-единственный толчок. На лестнице послышался суматошный топот, и в комнату ввалился Хаб, обхватив руками металлический предмет цвета пистолета и размером с кошку. На предмете имелся красный язычок. Хаб захлопнул за собой дверь, запер ее на замок и бросил предмет на кровать Орсона. Оказалось, это головка парковочного счетчика, сорванная с подставки. Пах Орсона мгновенно прорезала острая боль.

— Ради бога, это еще что такое?! — воскликнул он своим брезгливо-пронзительным голосом.

— Парковочный счетчик.

— Не дурак, сам вижу. Где, черт тебя дери, ты его раздобыл?

— Я не стану с тобой говорить, пока ты не прекратишь истерику, — сказал Хаб и подошел к своему столу, на который Орсон положил его почту. Он взял верхнее письмо, заказное, из портлендского призывного бюро и разорвал пополам. На этот раз боль прошила Орсону грудь. Сидя за столом, он обхватил голову руками и закружил вслепую в красно-черных потемках. Орсона пугало собственное тело; его нервы приготовились к третьему психосоматическому удару.

Кто-то забарабанил в дверь. Судя по силе, с которой колотили, это могла быть только полиция. Хаб проворно бросился к кровати и запрятал счетчик под подушку Орсона. Затем прошествовал к двери и отворил.

Оказалось, это Доусон и Керн.

— Что стряслось? — поинтересовался Доусон, набычась, словно шумели нарочно, чтобы вывести его из себя.

— Крик такой, будто Зиглера пытают, — сказал Керн.

Орсон ткнул в Хаба и объяснил:

— Он кастрировал парковочный счетчик!

— Ничего подобного, — сказал Хаб. — На Массачусетс-авеню машина потеряла управление и врезалась в припаркованную машину, которая сбила счетчик. Собралась толпа. Головка счетчика валялась в канаве, ну я ее подобрал и прихватил с собой. Я опасался, что кто-нибудь покусится на нее и украдет.

— И никто не пытался тебя остановить? — спросил Керн.

— Конечно нет. Они все столпились вокруг водителя машины.

— Он пострадал?

— Вряд ли. Я не посмотрел.

— Он не посмотрел! — вскрикнул Орсон. — Хорош самаритянин.

— Я не страдаю нездоровым любопытством, — ответил Хаб.

— А где была полиция? — спросил Керн.

— Они еще не подъехали.

Доусон спросил:

— Так что ж ты не подождал, пока подъедет полицейский, чтобы отдать ему счетчик?

— С какой стати я стану отдавать его пособнику государства?! Счетчик принадлежит ему не больше, чем мне.

— Но он все же принадлежит ему, — сказал Орсон.

— Это был обычный акт провидения, ниспославшего мне счетчик, — сказал Хаб; уголки его губ были ровными. — Я еще не решил, какой благотворительной организации отдать деньги, лежащие в нем.

— Но разве это не воровство? — спросил Доусон.

— Не большее воровство, чем когда ворует государство, заставляя людей платить за место для парковки их собственных автомобилей.

— Хаб, — сказал Орсон, поднимаясь из-за стола, — ты должен его вернуть, или мы оба попадем в тюрьму.

Он представил себя и свою едва начавшуюся карьеру загубленными.

Хаб безмятежно обернулся:

— Я не боюсь. Оказаться в тюрьме при тоталитарном режиме — почетно. Если бы у тебя была совесть, ты бы это понимал.

В комнату зашли Петерсен, Картер и Сильверштейн. Вслед за ними — ребята с нижних этажей. Происшествие было весело пересказано. Из-под подушки был извлечен счетчик, его пустили по кругу и встряхивали, чтобы продемонстрировать вес содержимого. Хаб всегда носил с собой замысловатый карманный нож на все случаи жизни — напоминание о стране лесорубов, откуда он был родом. Он начал ковыряться в счетчике, чтобы открыть дверцу, за которой лежали монеты. Орсон подошел сзади и обхватил его рукой за шею. Тело Хаба напряглось. Он передал счетчик и открытый нож Картеру, а затем Орсон ощутил, как отрывается от пола, летит, падает и лежит на полу, глядя снизу вверх в лицо Хабу, которое ему оттуда видится перевернутым. Орсон кое-как поднялся и тут же снова бросился в атаку, цепенея от гнева, но в душе испытывая радостное облегчение. Тело Хаба жесткое, стремительное, его приятно стиснуть, но он борец, и потому, легко отведя руки Орсона, он снова подхватывает его и бросает на черный пол. На этот раз Орсон больно ударился о доски копчиком. Но даже сквозь боль он сознавал, вглядываясь в глубины своей «семейной жизни», что Хаб обращается с ним настолько бережно, насколько возможно. И то, что он мог бы всерьез попытаться убить Хаба, не подвергаясь опасности в этом преуспеть, тоже грело ему душу. Он возобновил атаку и снова восхитился оборонительным мастерством Хаба, превращающим его тело в некую ловушку в пространстве, столкнувшись с которой Орсон, после отчаянного мгновения борьбы, вновь оказывался на полу. Он встал и напал бы на Хаба в четвертый раз, но приятели-сокурсники схватили его за руки и удержали. Он стряхнул их, не говоря ни слова, вернулся за свой стол и, перевернув страницу, сосредоточился на книге. Шрифт казался исключительно четким, хотя так скакал перед глазами, что ничего нельзя было разобрать.

Головка парковочного счетчика пролежала в их комнате одну ночь. На следующий день Хаб позволил себя убедить (это сделали другие, Орсон перестал разговаривать с ним), что он должен отнести счетчик в управление кембриджской полиции на Центральной площади. Доусон и Керн обвязали счетчик лентой и приложили к нему записку: «Пожалуйста, позаботьтесь о моем дитяти». Ни один из них, однако, не решился пойти с Хабом в полицию, хотя, вернувшись, он сказал, что шеф полиции был счастлив получить обратно счетчик, поблагодарил его и согласился пожертвовать его содержимое местному сиротскому приюту. Через неделю был сдан последний экзамен. Все первокурсники разъехались по домам. А когда вернулись осенью, они уже стали другими — второкурсниками. Петерсен и Янг больше не появились. Зато Фитч сдал академическую задолженность и в конце концов окончил университет с отличием по истории и литературе. Теперь он преподает в квакерской подготовительной школе.

Сильверштейн — биохимик. Кошланд — адвокат. Доусон в Кливленде, пишет консервативные передовицы. Керн занимается рекламным бизнесом в Нью-Йорке. Картер, как бы из солидарности с Янгом, канул в неизвестность где-то между третьим и четвертым курсом. Соседи по общежитию потеряли друг друга из виду, хотя про Хаба, чье дело об уклонении от воинской повинности было передано в Массачусетс, время от времени писали в газете «Кримзон», а однажды он сам выступил с вечерней лекцией на тему «Как я стал епископалианским пацифистом». В ходе судебного разбирательства епископ Массачусетский довольно неохотно поручился за него, а ко времени последнего судебного слушания война в Корее окончилась и председательствующий судья постановил, что убеждения Хаба искренни, поскольку об этом свидетельствует его готовность сесть в тюрьму. Оправдательный приговор весьма разочаровал Хаба, ибо он подготовил список литературы, которую собирался прочитать за три года отсидки в тюрьме, и намеревался заучить наизусть все четыре евангелия в греческом оригинале. После университета он поступил в Объединенную богословскую семинарию, пробыл несколько лет помощником пастора в одном из городских приходов Балтимора и научился играть на пианино настолько хорошо, что исполнял фоновую музыку в коктейль-баре на Чарльз-стрит. Он настоял на том, чтобы носить воротничок священнослужителя, и в результате стал скромной достопримечательностью этого заведения. Проведя год в наставлении людей с менее стойкими убеждениями, он получил разрешение отправиться в Южную Африку, где проповедовал среди банту, пока правительство не потребовало от него покинуть страну. Оттуда он поехал в Нигерию. Последний раз, когда он дал о себе знать, прислав рождественскую открытку с поздравлением на французском и неграми-волхвами, которая дошла в Южную Дакоту в феврале замусоленной и помятой, Хаб находился на Мадагаскаре в качестве «миссионера, политического агитатора и футбольного тренера по совместительству». Эта характеристика удивила Орсона своим остроумием, а старательный детский почерк Хаба — каждая буковка выведена отдельно — заставил его снова пережить кое-какие неприятные ощущения. Пообещав себе ответить на поздравление, он куда-то засунул открытку, что, вообще-то, было ему несвойственно.

После происшествия с парковочным счетчиком Орсон дня два не разговаривал с Хабом. Затем вся история показалась довольно глупой, и они закончили год, по-дружески сидя бок о бок за своими столами, как два утомленных, помятых пассажира, выдержавших вместе долгое автобусное путешествие. Расставаясь, они пожали друг другу руки, и Хаб проводил бы Орсона до метро, если бы не встреча, назначенная в противоположном конце города. Два заключительных экзамена Орсон сдал на «отлично», два — на «хорошо». Оставшиеся три курса в Гарварде он без всяких приключений провел с двумя заурядными студентами-медиками, Уолесом и Нейгаузером. После университета он женился на Эмили, поступил в Йельский университет на медицинский факультет, интернатуру прошел в Сент-Луисе. Теперь он отец четверых детей и после смерти своего отца — единственный доктор в городе. Его жизнь в общем сложилась так, как он намечал. Он стал тем человеком, каким собирался стать, когда ему было восемнадцать. Он принимает роды, помогает умирающим, посещает нужные собрания, играет в гольф и вполне преуспевает. Он респектабелен и раздражителен. А если его любят меньше, чем его отца, что ж, зато уважают больше. И только одно — как шрам на теле, который он носит без боли и без четкого воспоминания об ампутации, — отличает его, каким он стал, от того, каким он хотел стать. Он никогда не молится.

1. *Квакеры —* протестантская секта, возникшая в Англии в XVII в. В настоящее время общины квакеров имеются в Англии, США, Канаде и странах Восточной Африки. Для квакеров истина веры проявляется не в том или ином церковном учении (отсюда — отказ квакеров от обрядности), а в озарении внутренним светом. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Меннониты* — течение в протестантизме, основанное в XVI в. в Нидерландах Менно Симонсом, призывавшим к примирению с действительностью, отказу от насилия и самосовершенствованию. [↑](#footnote-ref-2)
3. *«Федон»* — знаменитый диалог древнегреческого философа Платона. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ганди Мохандас Карамчанд* (1869—1948) — руководитель национально-освободительного движения в Индии, основатель социально-политической и философской доктрины, названной «гандизм», стержнем которой является принцип ненасильственной борьбы. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Андерсон Шервуд* (1876—1941) — американский прозаик, публицист. Приобрел известность как мастер психологической новеллы. Сборник рассказов «Уайнсбург, Огайо» (1919) считается одной из лучших книг Андерсона. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ларошфуко Франсуа де* (1613—1680) — французский писатель и философ-моралист. Главное сочинение — «Размышления, или Моральные изречения и максимы» (1665). [↑](#footnote-ref-6)
7. *Демосфен* (384—322 до н. э.) — прославленный греческий оратор. Его речи отличались высоким пафосом и силой убеждения. Наибольшей известностью пользуются его речи против македонского царя Филиппа II («филиппики»). [↑](#footnote-ref-7)
8. *Святой Августин —* Августин Аврелий (354—430), христианский теолог и философ, признанный в католичестве святым и учителем Церкви. Сыграл заметную роль в разработке католической догматики. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Сэндберг Карл* (1878—1967) — американский поэт, развивавший уитменовскую традицию, биограф, собиратель американских народных песен; награжден Пулитцеровскими премиями (1940, 1950). [↑](#footnote-ref-9)